



Двойной шпагат



I

Жак Форестье был скор на слезы. Поводом для них могли быть кинематограф, пошлая музыка, какой-нибудь роман с продолжением. Он не путал эти ложные признаки чувствительности с настоящими слезами. Те лились без видимых причин. Поскольку свои малые слезы он скрывал в полумраке ложи или в уединении за книгой, а настоящие — все-таки редкость, он считался человеком бесстрастным и остроумным.

Репутацией интеллектуала он был обязан быстроте мышления. Он скликал рифмы с разных концов света и сочетал их так, что казалось, будто они рифмовались всегда. Через рифмы мы слышим — неважно что.

Бесцеремонным толчком он посылал имена собственные, характеры, действия, робкие высказывания в их крайнюю степень. Эта манера снижала ему репутацию лжеца.

Добавим, что прекрасное тело или прекрасное лицо восхищали его независимо от того, какому полу принадлежали. Эта странность давала основание наделять его порочными наклонностями: порочные наклонности — единственное, чем наделяют не задумываясь.

Не обладая такой внешностью, какой бы ему хотелось, не отвечая созданному им образу идеального юноши, Жак и не пытался достичь этого столь далекого от него совершенства. Он развивал слабости, тики и чудачества до того, что переставал их стесняться. Он ими добровольно щеголял.

Возделывание неблагодарной почвы, укрощение, облагораживание сорных трав придали его облику нечто суровое, совершенно не вязавшееся с его мягкостью.

Так, из худощавого, каким он был от природы, он сделался тощим; из ранимого — заживо освеженным. Его желтые волосы, торчащие во все стороны, не укладывались в прическу, и он стриг их ежиком.

В общем, эта внешность, по сути своей антиискусственная, обладала всеми преимуществами искусной мистификации, маскируя мещанскую приверженность к порядку, болезненное бескорыстие, унаследованное от отца, и материнскую меланхоличность.

Если б кто-нибудь из ловких, безжалостных парижских охотников его обнаружил, свернуть ему шею не составило бы труда. Одного слова хватало, чтоб его обескуражить.

Из презрения к скороспелому превосходству, которое приобретается отрицанием устоев собственного класса, Жак эти устои принимал, но на

такой необычный лад, что его семья не могла признать их за свои.

В общем, он отличался подозрительной изысканностью — изысканностью зоологической. Такой вот аристократ, не выносящий аристократии, парень из народа, не выносящий масс, тысячу раз на дню заслуживает Бастилии или гильотины.

Его не устраивают ни правые, ни левые, которых он считает мягкотелыми. Только для него, человека крайностей, золотой середины не существует.

В подтверждение аксиомы «Противоположности сходятся» ему мечталась некая девственно-крайняя правая партия, сходящаяся с крайней левой до полного слияния, но чтобы он мог действовать там один. Кресла нет, а если есть — оно никем не занято. Жак усаживался в него, как положено, и оттуда рассматривал все вопросы политики, искусства, морали.

Он не домогался никакого вознаграждения. Люди этого не любят.

Те, что домогаются — потому что бескорыстие притягивает удачу, которую они не способны признать честной. Те, что вознаграждают — потому что у них ничего не просят.

Достичь. Жаку не совсем ясно, чего, собственно, достигают. Короны или Святой Елены достиг Бонапарт? Чего достиг поезд, наделавший шуму, сойдя с рельсов и убив пассажиров? Не боль-

шим ли достижением было бы для него достичь станции?

Подыскивая для Жака подходящий прообраз в глубине веков, я разоблачаю его как существо паразитическое.

В самом деле: где бумага, подтверждающая его право наслаждаться трапезой, прекрасным видом, девушкой, мужчинами? Пусть покажет. Все общество вырастает перед ним, как постовой, и требует эту бумагу. Он теряется. Мямлит неизвестно что. Он не может ее найти.

Этот искатель наслаждений, чьи ноги уверенно ступают по земной тверди, этот критик пейзажей и творений держится здесь на ниточке.

Он тяжел, как водолаз в скафандре.

Жак копает в глубину. Он ее угадывает. Он к ней приспособился. Его не вытаскивают на поверхность. Его забыли. Подняться на поверхность, скинуть шлем и костюм — это переход от жизни к смерти. Но через шланг к нему доходит некое нездешнее дыхание, которое животворит его и переполняет ностальгией.

Жак живет в постоянном противоборстве с долгим обмороком. Он не ощущает себя устойчивым. Он ни на что не ставит, кроме как в игре. Едва осмеливается разве что присесть. Он из тех моряков, что не могут исцелиться от морской болезни.

В конечном счете, красоте чисто физической свойственна надменная манера быть везде как

дома. Жак, изгнанник, жаждет этой красоты. Чем менее она снисходительна, тем сильнее его волнует; его судьба — вечно об нее раниваться.

За стеклом он видит праздник: расу, у которой все бумаги в порядке, которая радуется жизни, существует в своей природной среде и обходится без скафандров.

Значит, он соберет на лицах, не смягченных нежностью, урожай снов.

Вот что открыл бы идеальному графологу почерк Жака Форестье, который стоит сейчас перед зеркальным шкафом, вглядываясь в свое отражение.

Смотрите не ошибитесь. Мы только что описали Жака Форестье анфас, но тут его характер вырисовывается пока лишь в профиль; вот почему мы и говорим об идеальном графологе. Хорошо бы, чтоб он, распутывая буквенную вязь, распутал всю линию жизни. Жак станет человеком, который в какой-то мере опережает причину того, чему предстоит случиться; и с ним произойдет то, чему предстоит случиться, в какой-то мере из-за того, что опередило причину.

Вещи, атомы относятся к своей роли серьезно. Если бы зеркало зазевалось, Жак, несомненно, мог бы шагнуть в него ногой, потом другой, увидеть себя под другим жизненным углом, таким новым, что его и вообразить невозможно. Нет. Зер-

кало играет жестко. Зеркало есть зеркало. Шкаф есть шкаф. Комната есть комната, третий этаж, улица Эстрапад.

Еще он думает о том англичанине, который покончил с собой, оставив записку: «Слишком много пуговиц, чем застегивать их и расстегивать, лучше умереть». Потому что Жак расстегивает куртку.

Ждать. Чего ждать? Жаку хотелось бы ждать чего-то определенного, упростить свое ожидание. Он не был верующим или верил так смутно, что мать молилась за него как за атеиста...

Неопределенная вера порождает дилетантские души. А дилетантизм — преступление перед обществом. Он верил больше, чем подобает. Он не ограничивал и не уточнял своих верований. Самоограничение в вере придает определенный настрой душе, так же, как ограничение и уточнение своих пристрастий в искусстве придает определенный настрой уму.

Он смотрел на себя. Он заставлял себя смотреть.

В нас много такого, что выталкивает нас за порог собственной личности. С самого детства Жака обуревало желание не добиться любви того, кто казался ему прекрасным, а быть им. Собственная красота ему не нравилась. Он считал ее уродливой.

Воспоминания о человеческой красоте оставались в его памяти ранами. Например, один вечер в

Мюррене*. У подножия горы наспех пьют холодное пиво, которое выстрелом в упор ударяет в виски. Фуникулер трогается в путь среди шелковиц. Понемногу закладывает уши, нос уже не закладывает; приехали.

Жаку одиннадцать. Он помнит священника, у которого пропал чемодан, полудрему, гостиницу, благоухающую смолой, муторное прибытие в зал, где дамы раскладывают пасьянсы, а господа курят и читают газеты. Вдруг — какая-то заминка у клетки лифта, лифт спускается и высаживает молодую пару. Юноша и девушка, темнолицые, с глазами как звезды, смеются, сверкая ослепительными зубами.

На девушке белое платье с голубым поясом. Юноша в смокинге. Слышится звон посуды, и запах кухни оскверняет коридоры.

Едва очутившись в своей комнате с видом на стену цельного льда, Жак разглядывает себя. Он сравнивает себя с этой парой. Ему хочется умереть.

Потом он с ними познакомился. Тигран д'Ибрео, сын армянина, живущего в Каире, коллекционировал марки и готовил на керосиновой лампе тошнотворные сладости. Его сестра Иджи ходила в новых платьях и стоптанных туфлях. Они танцевали друг с другом.

* *Мюррен* — курорт в бернском кантоне Швейцарии. В 1900 году Жан Кокто отдыхал там со своей матерью. (*Здесь и далее комментарии Н. Бунтман, если не указано иное.*)

Стоптаннные туфли и медовые лепешки были знаком царственной, но убогой расы. Жак бредил этой кухней и этой рванью. Он не видел иного средства перевоплотиться в этих двух священных кошек. Ему тут же захотелось коллекционировать марки и делать миндальные леденцы. Он нарочно портил свои новые теннисные туфли.

Иджи кашляла. У нее был туберкулез. Тигран сломал ногу на катке. Отцу слали телеграммы. Однажды утром они уехали — кашляя, хромая, в сопровождении пса, таинственного, как Анубис*.

Жак кашлял; его мать перепугалась до безумия. Он оставил ее тревогу без внимания. Кашлял он из любви. Гуляя, он тайно хромал.

Каждый вечер после обеда он усаживался в плетеное кресло, и ему казалось, что он воочию видит Иджи в ее платье Святой Девы в освещенной рамке лифта, между лифтером и Тиграном, возносящуюся в небеса на крыльях ангелов.

С одиннадцати до восемнадцати лет он истлевал, как «армянская бумажка», которая быстро сгорает и не очень приятно пахнет.

* *Анубис* — египетский бог, покровитель умерших. Прикасаясь к мертвым, превращал их в «блаженных». Изображался обычно в виде собаки. Кокто не раз обращался к этому мифологическому персонажу, в частности при создании костюмов для спектакля «Адская машина».

В конце концов поездки в Швейцарию прекратились. Госпожа Форестье перевезла его с итальянских озер в Венецию.

На Лаго-Маджоре он познакомился с одним студентом, изучавшим Бергсона и Тэна. У него были белокурые усы, лорнет и скепсис переодетого Барреса*. Интеллект его был отточен донельзя — он смаковал его и тем истончал, как леденцовую палочку. Этот непослушный послушник науки смотрел на Борромейские острова** свысока. Он прозвал их «сестры Изола».

Его причуда стала для Жака откровением — ему впервые открылось, что можно вольно использовать свои пять чувств. Сам он принимал эти острова безоговорочно.

Пышный ярмарочный тир, рассыпавшийся в крошки, — это Венеция днем. Ночью это влю-

* *Баррес, Морис* (1862–1923) — французский писатель и политический деятель. В романах «Сад Береники», «Свободный человек» проповедовал «культ себя», призывал искать источники экзальтации, говорил о бессознательных движениях души. Превозносил германский национализм. Его идеи героизма и аскетизма оказали значительное влияние на таких писателей, как Монтерлан, Дрие ля Рошель, Мальро. В статье «Памяти Барреса», опубликованной 26 ноября 1953 года в «Ну-вель литерер» Кокто пишет, что восхищался романами Барреса вслед за старшим поколением, для которого тот являлся богом, но при этом замечает, что не согласен с его политикой.

** *Борромейские острова* — четыре острова: Изола-Мадре, Изола-деи Пескатори, Изолино Сан-Джованни и Изола-Белла в западной оконечности Лаго-Маджоре между Стрезой и Палланцей.

бленная негритянка, умирающая в ванне, вся в мишурных драгоценностях.

В вечер приезда гостиничная гондола заманчива, как ярмарочный аттракцион. Это не будничное средство передвижения. Родители, увы, этого не понимают. Венеция начнется завтра. Сегодня мы в гондоле не поедem: поедem на пароходике. Сколько у нас мест? Сегодня мы не смотрим на город, напоминающий кулисы Оперы во время антракта. На следующее утро Жак увидел толпы туристов. На площади Святого Марка захлопнутая в ловушку этой театральной декорации элегантная толпа, как на бале-маскараде, выдает все свои секреты. Самая откровенная беззастенчивость не считается ни с возрастом, ни с полом. Самые робкие наконец-то позволяют себе жест или наряд, о котором стыдились мечтать в Лондоне или Париже.

Бал-маскарад срывает маски — это факт. Ни дать ни взять отборочная комиссия. Огнями рамп, прожекторами Венеция высвечивает души во всей их наготе.

Любовный недуг Жака принял еще более изощренную форму, чем в Мюррене.

Ночью, лежа под москитной сеткой, он слышал звуки гитар, тенора. Ему мерещились какие-то темные дела. Он плакал о том, что не может быть этим городом. Сам Гелиогабал* в немисли-

* *Гелиогабал (или Элагабал)* (204–222) — римский император, двоюродный брат Каракаллы. Был жрецом бога Солнца в Сирии. Время его правления было отмечено частыми беспорядками. Вместо него фактически правили мать и бабушка. После победы его политических противников Элагабал и его мать были убиты, а тела их брошены в Тибр.

мейших из своих капризов не претендовал на такое.

Студент из Бавено проездом оказался в Венеции. Он познакомил Жака с одним журналистом и с танцовщицей. Они часто гуляли вместе.

Как-то ночью журналист провожал Жака до гостиницы.

— В Париже у меня скверная компания, — сказал он. — Я люблю эту девушку, о чем она не подозревает. Вернуться к прежним связям для меня невозможно, а с другой стороны, я чувствую, порвать с ними будет нелегко.

— Но если Берта (так звали танцовщицу) вас любит...

— О, она меня не любит. Вы-то должны бы это знать. Впрочем, я собираюсь покончить с собой через два часа.

Жак съязвил по поводу классического самоубийства в Венеции и пожелал ему спокойной ночи.

Журналист покончил с собой*. Танцовщица любила Жака. Он этого не заметил и узнал лишь годы спустя через третье лицо.

Этот эпизод внушил ему отвращение к поэзии малярии. Еще из прогулки по садам Эдема он вы-

* Когда Жан Кокто был совсем еще молодым, в сентябре 1908 года в Венеции он стал свидетелем самоубийства молодого писателя Раймона Лорана, покончившего с собой в сентябре 1908 года на ступенях церкви Салюте. В раннем стихотворном сборнике Кокто «Лампа Аладдина» есть такие строки:

Жест. Один выстрел.

Красная кровь на белых ступенях.

нес перемежающуюся лихорадку — неприятное напоминание о поездке.

Госпожа Форестье боялась насморков, бронхитов, дорожных аварий. Опасностей, подстерегающих дух, она не видела. Она предоставляла Жаку играть с ними.

Венеция обмишурила Жака, как декорация, покоровившаяся за долгую службу, ибо каждый артист воздвигает ее хоть для одного акта своей жизни.

В музеях после двух часов внимательного обхода роскошь наездником вскакивала ему на плечи.

Разбитый усталостью, от которой сводило мышцы, он выходил, спускался по ступеням, смотрел, как палаццо Дарио, подобно престарелой певице, приветствует ложи напротив, и возвращался в гостиницу. Он восхищался бодростью пар, осматривающих Венецию с неутомимостью насекомых. Те, кто знает ее наизусть, кто сто раз уже погружал хоботок в золотую пыльцу Святого Марка, водят по ней своих новых возлюбленных. Роль чичероне омолаживает их. Единственная передышка, которую они себе позволяют, это присесть в лавке, где предмет их нежных чувств покупает стеклянные украшения, томики Уайльда и д'Аннунцио*.

* Уайльд, Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс (1854—1900) — английский писатель, драматург, один из теоретиков дендизма.

Д'Аннунцио, Габриеле (1863—1938) — итальянский писатель, близкий Кокто идеями антиконформизма, изысканной эстетики и аристократизма. Так же, как и Кокто, писал в

Подобно нам, у кого с ней старые счеты, Жак, при поддержке своей лихорадки, настраивал себя против этой запечатленной прелести, этого дивно-замкнутого дома, куда приходят насыщаться избранные души.

Сама наша дотошность доказывает, насколько он был подвержен очарованию, которое отвергала его темная сторона.

Темная сторона — светлая сторона: таково освещение планет. Одна сторона мира отдыхает, другая работает. Но та сторона, что погружена в сон, излучает таинственную силу.

У человека эта сонная сторона, случается, оказывается в противоречии со стороной действующей. То проявляется его истинная природа. Если урок идет на пользу, пусть человек к нему прислушивается и упорядочивает свою светлую сторону; тогда темная сторона станет опасной. Ее роль изменится. С нее потянутся миазмы. Мы еще увидим Жака в борьбе с этой ночью человеческого тела.

Пока что она подстраховывает его, посылает ему противоядия, напильники, веревочные лестницы.

Не всякая помощь достигает цели. Париж — город более коварный, чем Венеция, в том смысле, что

дневниках, что художник высшего порядка должен быть открыт для разного рода впечатлений и ощущений, чтобы создавать истинные произведения искусства.

он лучше скрывает свои ловушки, и его машинерия не так наивна. О Венеции, как об определенных домах, заранее известно, что там есть вода, комната с зеркалами, комната Веронезе, изможденные красотики в розовых рубашках и риск подцепить болезнь.

А как ориентироваться в Париже?

Жак, этот парижанин, этот баловень судьбы, попал в Париж из провинции.

Так было пять месяцев назад, но где-то по пути он пересек тончайшую возрастную линию, где дух и тело делают выбор.

Его мать думала, что везет обратно того же человека, немного отвлекшегося панорамами Италии. А привезла другого. И метаморфоза эта произошла именно в Венеции. Жак осознавал ее лишь как неприятное ощущение. Он приписывал его самоубийству, которому был свидетелем, и сценам вечернего промысла под аркадами. На самом деле он оставил старую кожу плавать в Большом Канале — сухую шкурку вроде тех, что ужи нацепляют на колючки шиповника, легких, как пена, лопнувших по губам и глазам.

II

Карта нашей жизни сложена таким образом, что мы видим не одну пересекающую ее большую дорогу, но каждый раз новую дорожку с каждым новым разворотом карты. Нам представляется, что мы выбираем, а выбора у нас нет.

Один молодой садовник-перс говорит своему принцу:

— Сегодня утром мне встретила смерть. Она сделала мне угрожающий знак. Спаси меня. Я хотел бы каким-нибудь чудом оказаться нынче вечером в Исфагане*.

Добрый принц дает ему своих лошадей. В тот же день принц встречает смерть.

— Почему, — спрашивает он, — ты угрожала сегодня утром моему садовнику?

— Я не угрожала, — отвечает она, — то был жест удивления. Ибо он встретился мне этим утром далеко от Исфагана, между тем как сегодня вечером я должна забрать его в Исфагане.

Жак готовился к экзаменам на степень бакалавра. Родители, лишившись образцового управляющего и вынужденные весь год оставаться в Турени, поместили Жака пансионером к господину Берлину, преподавателю, проживавшему на улице Эстрапад.

Господин Берлин снимал два этажа. Себе он оставил второй, а пансионеров размещал на третьем, в пяти комнатах вдоль неприглядного коридора, освещенного газовым рожком, выкрутить который на полную мощность не позволяла замазка застарелой пыли.

* *Исфаган (Испагань)* — старинный город в центральной части Ирана, известный мастерами миниатюр, мечетями, минаретами и ковроткачеством. Упоминался античными авторами, в частности Птолемеем.

По одну сторону комнаты Жака квартировал Махеддин Баштарзи, сын богатого торговца из Сент-Эжена, алжирского варианта Отейля*, а по другую — альбинос Пьер де Марисель. Напротив жил очень юный ученик с безвольным, но очаровательным личиком. Он отзывался на прозвище Дружок.

Годом раньше в Солони** он и его младший брат задумали устроить каверзу своему гувернеру. Но в тот самый момент, когда они, нарядившись привидениями, подкрались в полночь к его спальне, дверь открылась, и вышла их мать в ночной сорочке и простоволосая. Дверная створка прикрывала мальчиков. Мать прошла через вестибюль, постояла, прислушиваясь, под отцовской дверью и вернулась к гувернеру, не заметив их.

Дружку так и не суждено было забыть минуту, когда они снова улеглись, не проронив ни единого слова.

Последняя комната была обителью беспорядка. Там в развале книг, тетрадей, галстуков, рубаш, трубок, чернил, цилиндров, стилографов, губок, носовых платков и пледов располагался

* *Отейль* — живописный шестнадцатый округ Парижа, имеющий богатую литературную историю (там бывали в свое время Буало, Мольер и Лафонтен и находился салон братьев Гонкур) и считающийся аристократическим.

** *Солонь* — район в центральной части Франции, традиционное место охоты и рыбалки.

лагерем Питер Стопвэл*, чемпион по прыжкам в длину.

Госпожа Берлин была много свежее своего мужа, вдовца по первому браку. Она жеманилась и воображала, что ученики в нее влюблены. Иногда заявлялась в чью-нибудь комнату, и тогда поспешность сокрытия каких-нибудь не относящихся к учебе занятий выставляла пансионера в дурацком виде. Она вгоняла ученика в краску пристальным взглядом и раздражалась смехом.

Она декламировала Расина в местах, где приличествует молчать. Однажды ученики слышали, как, догадавшись, что ее за этим застигли, она преобразовала декламацию в кашель, плавно перешедший в молчание.

Одним из штрихов, характерных для госпожи Берлин, был следующий. В начале своего брака они с Берлиным, живя тогда за городом, сдавали комнату некоей разведенной пианистке. Берлин каждый вечер возвращался из коллежа семичасовым поездом. Как-то ему пришлось заночевать в городе. Госпожа Берлин, будучи очень пуглива, умоляла пианистку лечь с ней. Пианистка проявила отзывчивость и перебралась в супружескую постель. В какую-то неделю Берлин дважды не ночевал дома, и жена его возобновляла свою просьбу. Пианистка желала соседке доброй ночи, поворо-

* *Питер Стопвэл* — прототипом персонажа послужил студент Леонард Клэр Инграм, призер Сорбонны по прыжкам в длину.

чивалась к стенке и засыпала, а утром поспешно уходила в свою комнату.

Семь лет спустя в компании, где разговор зашел об этой пианистке, причем все толковали о ее подозрительных наклонностях, госпожа Берлин загадочно улыбнулась и объявила, что «имеет все основания полагать» на основе «личного опыта»: «дурная слава этой женщины — дутая»...

Наивная в своем актерстве, она, например, надеялась выдать желаемое за действительное, когда, подав остывший чай, делала вид, будто обожглась. «Подождите, не пейте! — восклицала она. — Это же кипяток!»

Берлин смотрел на жену, на учеников, на жизнь тусклым взглядом сквозь очки.

Он носил белую бороду и шлепанцы. Его брюки были как у статиста, изображающего заднюю часть маскарадного слона. Он преподавал в Сорбонне, играл в карты в кафе «Вольтер» и шел домой спать. Этой сонливостью вовсю пользовались, отвечая вместо урока что попало и сдувая задания с уже существующих переводов.

И в довершение картины — служанка. Всякий раз другая. Их меняли каждые две недели, главным образом за чистку стенных часов Буль, которые господин Берлин заводил самолично и не терпел, чтобы к ним прикасались.

Все вышеперечисленные собирались в полдень и в восемь часов за столом, где госпожа Берлин распределяла между ними жесткое мясо.

Ее муж ел машинально. Иногда икал, и это темное содрогание колебало его, как снежную гору.

Питер Стопвэл был бы образцом античной красоты, если б прыжки в длину не вытянули в длину его самого, как плохо снятую фотографию. Он окончил Оксфорд. Оттуда шли его хладнокровная наглость, сорта его сигарет, темно-синие шарфы и многоликая аморальность под безликостью спортивной формы. Дружок любил его. По воскресеньям он таскал за ним до самого Парка де Пренс сумку с гимнастическим трико и махровым халатом.

Любить и быть любимым — вот идеал. Если, конечно, имеется в виду то же лицо. Часто это не совпадает. Дружок любил и был любим. Только любим он был практиканткой из лаборатории, а любил Стопвэла. Эта любовь ошеломляла его.

Он пал жертвой полумрака, в котором неосознанные чувства сталкиваются с сердцем.

Такая любовь льстила Стопвэлу. Он никак этого не выказывал. Холодно осаживал бедного мальчика. «Это не принято», — говорил он в ответ на детские попытки приласкаться. Или даже: «Вы, знаете ли, неопрятны. Умывайтесь. Принимайте ванну. Обтирайтесь. Вы никогда не моетесь. Кто не моется, от того дурно пахнет».

Часто замечания Стопвэла были английской манерой поддразнивания. Но Дружку были ведомы лишь азы смеха и слез. Он не понимал. И счи-

тал себя и впрямь грязным, порочным и придурковатым.

Как-то вечером, когда Дружок, сидя на краю кровати возле курящего Питера Стопвэла, благоговейно положил руку ему на плечо, Стопвэл отпихнул его и спросил, девчонка он, что ли, — вешаться на шею мужчинам?

Дружок залился слезами.

— О боже, — сказал Стопвэл, прикуривая сигарету от окурка, который отшвырнул не глядя, — вечно вы клянчите, хнычете, цепляетесь, ластились. Сходили бы лучше к девочкам. Возле Пантеона можно найти за пятьдесят сантимов.

Марисель был шестым сыном в захудалой дворянской семье. Хронический запор бесконечно удерживал этого альбиноса в одном месте, которое из-за него становилось недоступным. В семье Марисель считалось, что разрешать такого рода проблемы следует только терпением, так что младший сын умер от разрыва аневризмы, пытаясь пересилить судьбу.

— У вас, французов, — говорил Стопвэл Дружку, — грязные вкусы. Мольер только и пишет что о клистирах.

Дружок вешал нос и не решался переступить осмеянный порог.

Махеддин Баштарзи, турок по происхождению, хранил верность феске. Таковых у него было три: одна красная, одна из серого меха,

одна каракулевая. Он был крупный, жирный пустой малый. На его визитных карточках красовалась странная надпись:

Махеддин Баштарзи
Инспектор

Он писал стихи; нюхал эфир. Однажды, когда эфиром запахло слишком сильно, Жак вошел к нему в комнату и застал хозяина в феске, сидящим в распахнутом окне. Слюняво распустив губы, одной рукой зажимая левую ноздрю, а другой поднося к правой аптечную склянку, он покачивался, не слыша Жака, оглушенный льдистыми цикадами наркотика.

О такой ли среде мечтала для сына мнительная мать, опасаящаяся микробов и сквозняков?

Только Жак, несколько дней подичившись, начал осваиваться в заведении Берлина, как спокойствие было нарушено трагикомической интермедией. Дружок заболел, и характер недуга не оставлял сомнений в его происхождении.

Господин Берлин исповедовал больного. Он узнал, что бедный мальчик последовал совету Стопвэла, поняв его буквально. Дружок рыдал.

— Невероятно! — восклицала госпожа Берлин. Однако не следовало допускать огласки.

Жак навещал больного каждый день. Однажды вечером Дружок безжизненным голосом попросил узнать у Питера, почему тот ни разу к нему не зашел.

Стопвэл, окутанный облаком, штудировал Огюста Конта.

— Почему? — сказал он. — Да потому, что он мне противен. Уж не думаете ли вы, что мне хочется видеть парня, который спит с больными девками? Что до меня, то я не сплю ни с кем.

— Это жестоко, — пролепетал Жак. — Бедный мальчик, он просит о такой малости.

— Малость! Если бы товарищи по клубу увидели меня, когда он мусолит мне руки... По-моему, вы забываетесь.

Это «если бы товарищи по клубу увидели» прозвучало, как в устах девственницы «если бы моя мать увидела».

Жак собирался уйти, как вдруг Питер, распечатывая пачку сигарет, придержал его за рукав.

— Вы что, возвращаетесь к этой мартышке? В Оксфорде мы с такими обращаемся, как со слугами. Бросьте, посидите со мной.

Хватка у него была геркулесовская. Он усадил Жака на сундук.

Довольно ли было одного этого жеста, чтобы маска упала? Так розы теряют округлость ланит, едва толкнешь вазу. Жак увидел незнакомое лицо, утратившее всякую апатичность и совсем нагое.

Он встал.

— Нет, Стопвэл, — сказал он, — время позднее. Мне надо написать письмо.

— Как хотите, старина.

Стопвэл отвернулся с ловкостью шулера и явил ему заново одетое лицо, новехонькую маску, подерживаемую сигаретой.

В итоге Жак снискал неприязнь Дружка, завидовавшего фальшивой благосклонности, которую выказывал ему Стопвэл. Стопвэл ненавидел его и скрывал это. Баштарзи не мог ему простить, что тот вошел, когда он нюхал эфир. Марисель презирал их всех скопом.

Оставались супруги Берлин.

Порой за столом от меткого слова Жака что-то загоралось в глазах профессора, а госпожа Берлин, которой муж препоручил обязанности надзирательницы, задерживалась в его комнате дольше, чем в других. Стопвэлу, на ее взгляд, недоставало «галантности». Араб ей «внушал страх». Остальные двое были мальчишки.

Как-то в субботу вечером, когда все ученики разошлись, кто к родным, кто в театр, Жак, у которого болело горло, остался один на всем этаже. Госпожа Берлин принесла ему лечебный отвар, пощупала лоб и пульс. Жак скоро заметил, что профессорша повторяет подходы Стопвэла; однако на этот раз холодность, вместо того чтобы погасить пламя, раздувала его, и госпожа Берлин мало-помалу выходила из своей роли второй матери.

Жак притворялся ничего не понимающим и, покашливая, постанывая, как больной, ищущий спокойной позы, смотрел сквозь ресницы на госпожу Берлин, чей разум колебалось желание,

как вправо и влево по стенам комнаты колебала свеча ее тень.

Наконец она с удивительной цепкостью потянула к себе его руку.

— Жак! Жак! — шептала она. — Что вы делаете!

Скрип дверей в парадном спас его. Госпожа Берлин отпустила руку, оправилась и упорхнула.

Махеддин вернулся из театра. Жак слышал, как он насвистывает модный мотивчик. Он фальшивил и начинал заново, так же фальшиво.

Наутро за столом Жак не решился взглянуть на госпожу Берлин. Она, напротив, поддразнивала его, успокаивала, прощала.

Жак жил в полном одиночестве и трудился, как истый зубрила. Что он знал? Ничего. Разве только то, что каждое движение осложняет наши отношения с себе подобными.

Он хотел бы умереть от своей простуды. Но кашель уже почти прошел.

Махеддин предложил ему сходить вместе в «Скалу». По воскресеньям и четвергам можно было совсем задешево взять билеты в первый ряд. Жак старался не уступить в дружелюбии. Он согласился. Соблазнили и Дружка. От своей семьи, живущей на севере, тот получал неплохие денежки.

Вот так на третье воскресенье Жак познакомился с любовницей Махеддина — Луизой Шампань.

Луиза пользовалась большей известностью, чем ее танцы, и занимала в полусвете лучшее место, чем на афишах. Она принадлежала к тем женщинам, которым платят пятьдесят франков в театре и пятьдесят тысяч на дому. Она сказала Жаку, что не годится жить одному и что она сосватает ему свою подругу Жермену.

Эта знаменитость играла четыре роли в ревю, до полусмерти заезженном тремя сотнями представлений.

Жермена улыбалась с недосыгаемой высоты между оркестром и куполом. Ее красота балансировала на волосок от уродства, но балансировала так, как акробатка на волосок от смерти. Есть и такой способ брать за сердце.

Эта игра света и тени привлекала Жака.

Увы, та доля свободы, которой мы обладаем, позволяет нам совершать ошибки, которых избежало бы растение или животное. Свое желание Жак распознал в свете Луизиной лампы.

Устроив первую встречу в своей уборной, Луиза взяла на себя дальнейшие переговоры и попросила Жака на следующий день прийти к ней домой на улицу Моншанен.

Он смылся с занятий, как говорят школьники, и, оставив дома Махеддина, помчался на назначенное свидание.

Шампань была расстроена. Он не понравился Жермене. Та признала, что он не лишен очарования, но не в ее вкусе.

Луизе было грустно передавать дурные вести.

— Беденький!

Она погладила его по головке, ущипнула за нос, короче говоря, без обиняков предложила себя в качестве утешительницы.

Питер, госпожа Берлин — это бы еще ладно. Отказывать становилось труднее. Шампань была красива, а с кушетки некуда было деться. Они наставили рога Махеддину.

Баштарзи ни о чем не подозревал и поносил Жермену, потому что ее автомобиль был вместительнее, чем машина Луизы, и арабу так и виделись гаремные сцены.

В одно из воскресений Жак проходил за кулисами мимо уборной Жермены. Та позвала его, закрыла дверь и спросила, почему это после посольства Луизы, на которое она дала благосклонный ответ, он воротит нос и доводит свою неучтивость до того, что ей самой приходится требовать объяснений.

Жак так и остолбенел. Жермена увидела, что недоумение его непритворно, обласкала его, утешила и перестала разговаривать с Луизой.

Жак, объявив, что ему претит обманывать Махеддина, переметнулся к своему новому завоеванию. Луиза оговорила его перед Махеддином, заявив, что он к ней приставал. Она не желала больше его видеть.

Соседи с улицы Эстрапад отныне жили каждый сам по себе.

III

Одно из искусств Парижа, безусловно наихудшее, — это магическое выведение пятен. Их не сводят — их возводят. И вот дурная слава, став действительно славой, дает неменьшие преимущества, чем добрая. Она требует и неменьших усилий. Многие содержанки подстраховываются сценой. Театр — это пошлина, которую они платят.

Но основному промыслу он мешает.

Пройдя профилактический курс театра, Жермена и Луиза дали себе отдых. Надолго. Искусство их не прокармливало.

У Жермены был богатый любовник, богатый настолько, что одно имя его означало богатство. Звался он Нестор Озирис, как марка сигарет. Его брат Лазарь содержал Лут, младшую сестру Жермены.

Жермена была способна на истинную нежность и охотно послала бы Озириса к черту, но сестра никогда не забывала о выгоде.

На Жака она поглядывала косо, хотя сама изменяла Лазарю с каким-то художником. Она знала, что сестра ее в таком деле нипочем не сохранит осторожности, и боялась, что это плохо кончится.

Она была похожа на Жермену, как похож на мраморную статую ее гипсовый слепок. Иначе говоря, между ними было только одно различие: все.

Вопреки гнусной атмосфере, которой он дышал после пережитого кризиса, сердце Жака

оставалось нетронутым и способным облагородить что угодно.

Жермена черпала свою юную свежесть из грязи. Ею она насыщалась с прожорливостью розы; и как роза предстает в виде бездонных уст, добывающих свой аромат у мертвецов, так же и ее смех, ее губы, румянец своей ослепительностью были обязаны биржевым крахам.

Безучастность пейзажа оправдывает в наших глазах презрение к нему. Пойди Венеция ему навстречу — стал бы Жак презирать Венецию?

Сердце живет в заточении. Отсюда его темные порывы и безнадежные муки. Всегда готовое дарить свои богатства, оно полностью зависит от оболочки. Бедное, слепое, что оно знает? Оно подстерегает хоть какой-нибудь знак, который выведет его из тоскливого бездействия. Нашупывает тысячью фибров. Стоит ли того предмет, на который ему предлагают обратить свои усилия? Неважно. Оно доверчиво расточает себя, а если получает приказ прекратить, сжимается, смертельно опустошенное.

Сердце Жака наконец-то получило разрешение действовать. Оно взялось за это с неуклюжестью и рвением новичка. Испугал Жака и новый для него эффект сорванной печати, которая есть внутри у каждого из нас, а будучи снята, высвобождает сильнейший наркотик. С такой же скоростью, как на экране кинематографа маленькая фигурка жен-

щины в толпе сменяется лицом той же женщины крупным планом, вшестеро больше натуральной величины, лицо Жермены заполнило мир, заслонило будущее, закрыло от Жака не только экзамены и товарищей, но и мать, отца, его самого. Вокруг царила тьма. Добавим, что в этой тьме скрывался Озирис. Есть сказка, в которой дети зашивают камни в живот спящему волку. Просыпаясь, Жак ощущал незнакомую тяжесть, потерю равновесия, отчего недолго и утонуть наподобие того волка, нагнувшись к воде напиться.

Да, Жермена любила его. Но ее сердечку это было не в новинку. Силы изначально оказались неравны.

В цирке неосторожная мать позволяет продемонстрировать на ее ребенке фокус китайского мага. Ребенка помещают в сундук. Сундук открывают: он пуст. Снова закрывают. Открывают: ребенок вылезает и возвращается на свое место. А между тем ребенок уже не тот. Никто об этом не догадывается.

В один воскресный день перед Жаком предстала мать. Она пришла за ним в пансион и увела с собой. Не сумев понять, что увезла из Венеции совсем другого сына, как же она могла учуять его нынешнюю метаморфозу? Она отметила, что выглядит он хорошо, хотя немного похудел. Так в переводе на материнский язык читались его усталость и пламя его румянца.

Госпожа Форестье была близорука и жила прошлым: две причины, мешающие ей четко представлять себе настоящее. В сыне она любила его сходство с бабушкой, а в муже — отца Жака. Она казалась холодной, потому что из крайней щепетильности взяла себе за правило ни с кем не связываться, боясь того, что называла увлечениями. Ее единственная подруга умерла. Жизнь ее замыкалась церковью, благопристойным супружеством и страхами за будущее Жака.

Наедине она изводила его нежными придириками, но при посторонних или при отце превозносила.

Если мы оставляем в стороне господина Форестье, то потому лишь, что он сам держался в стороне. В молодости он натерпелся от такого же демона, как тот, что мучил Жака. Он обезвредил его учебой и женитьбой. Но демона просто так не обезвредишь. Прямая, здоровая натура исчала, все в себе ощущая как противоестественное. Все же господин Форестье догадывался о метаниях Жака, узнавал их и смирялся с безнадежностью, как больной саркомой, который вылечил плечо и вдруг обнаруживает, что болезнь перекинулась в колено.

— Ну как ты, Жак, — сказала мать, — здоров?

— Да, мама.

— Занимаешься?

— Да, мама.

— А товарищи?

— Ничего. Один араб, один англичанин, двое совсем мальчишки.

— Живя с англичанином, тебе бы надо поучиться у него языку.

Эта фраза унесла Жака так далеко от реальности, что он не ответил. Обычно он любил гулять с матерью, но сейчас жалел разделяемое с ней время, как потерянное.

Ложь угнетала его, делала окружающую атмосферу искусственной, непригодной для дыхания. Раз нельзя поделиться Жерменой, он предпочитал, чтобы мать поскорее уехала, не вынуждала его удерживать ее на расстоянии.

Жак любил.

Он не желал быть Жерменой. Он желал ею обладать.

Впервые в жизни его желание не принимало болезненных форм. Впервые ему не была ненавистна собственная особа. Он верил, что исцелился окончательно.

Беспредметная жажда красоты убивает.

Мы уже объясняли, как изнурял себя Жак, обращая свои желания к пустоте. Ибо что они, как не пустота, — эти фигуры и лица, по которым взгляд наш отчаянно шарит, не находя отклика?

На этот раз желание столкнулось не с бесчувственной поверхностью, и отзывом Жермены был как раз образ Жака: так экран дарует свободу

фильму, который без преграды остался бы всего лишь белым снопом. Жак видел свое отражение в этом желании, и впервые встреча с собой волновала его. Жермениного себя он любил. Терялось ощущение разыгрываемой роли, которую он совершенствовал, не пытаясь соприкоснуться со своим идеалом.

До этих пор женщины, которым он нравился, не нравились ему. Их вялый профиль он узнавал с первого взгляда. Сколько бы ни было в мире лиц, подразделяются они всего на несколько категорий. Видя грудастую брюнетку определенного типа, Жак заранее мог сказать, что она в него влюбится. Жермена не принадлежала к породе высоких, внушающих трепет девиц, носящих имена скаковых лошадей. Но было в ней что-то от той недостижимости, той сверхъестественности, которые превращают какого-нибудь моряка с набережной Неаполя или теннисистку из Холгейта в щемящее воспоминание.

Итак, один из тысячи прохожих остановился. Попался. Можно любить в нем все улицы, все города в вечер приезда, волнующую атмосферу порта, Иджи и Тиграна д'Ибрео, собаку-шакала, женевскую акробатическую труппу и наездницу из римского цирка.

Таким размышлениям он безостановочно предавался до самого отхода поезда, умчавшего господжу Форестье в Тур.

IV

— Да брось, Лут, — говорила Жермена сестре. — Нестор ничего и не заметит. Надо только, чтоб ты представила нам Жака как приятеля твоего художника. (Денежный мешок знал, что делается за спиной брата, и это тешило его эгоизм.) — Он обожает, когда его посвящают в секреты, а для нас так меньше риска.

Озирис был до изумления легковверен. Любовница льстила этой самоуверенности, принимая его в сообщники против Лазаря.

В одну из первых ночей, что Нестор провел с ней, в дверь позвонил молодой актер, ее любовник, перепутавший дни.

— Прячься, — шепнула она Озирису, — это мой старикашка.

Озирис вскочил, сгрэб свои вещи, залез в платяной шкаф, задышался там, пока Жермена принимала молодого человека, а выйдя, чуть не лопался от гордости.

Столь мастерский ход и положил начало их связи. Не надо из этого заключать, что Жермена — низкое существо. Она защищалась. В ее действиях не было расчета.

Еще девчонками они с сестрой мечтали о Ледовом дворце, который представлялся им чертогом из сплошных зеркал. Однажды в воскресенье они пошли туда, а вышли с целой свитой хорошо одетых мужчин. Один из них совратил Жермену.

Когда он бросил ее, она нанялась к какой-то модистке на Монмартре. В один прекрасный день модистка сказала ей: «Детка, послезавтра меня собираются арестовать. Я смываюсь, лавку оставляю на тебя». С собой она забрала белье и жемчуга.

Жермена осталась, вывесила в витрине плакат, гласивший, что шляпки ценой в двести франков продаются по двадцать пять, за полдня распродала все до единой, выставила на их месте устарелые модели, которые откопала в подвале, наняла грузовую подводку, перевезла стол, стулья и трюмо в комнату, которая все еще оставалась за ней, а остатки предоставила подбирать швейцару.

В ней сидел уличный бес. Она ничуть этого не стыдилась.

Обедая с Лут, Нестором и Лазарем в модном ресторане, она пролила вино. Тут же подоспел метрдотель и застелил пятно клеенкой, пока не принесли скатерть. Эта клеенка пробудила у сестер одни и те же воспоминания. Они переглянулись. Лут покраснела, а Жермена воскликнула:

— Ой, клеенка! Так и вижу Бельвиль, лампу, суп, папашу Рато...

Настоящая их фамилия была Рато. При Несторе отцу и матери Рато грех было жаловаться. Им теперь принадлежала чудесная ферма в окрестностях Парижа.

Обе сестры, ферма Рато, братья Озирис, Жак, его семья, его мечта — смесь взрывоопасная.

Впрочем, составляет такие смеси судьба. Ей нравится химичить над людьми.

Если бы желания Жака кристаллизовались и если бы мы рассмотрели поближе все их множество, как рассматриваем Жермену, приемлемее ли оказался бы результат?

Нарцисс любил себя. За это преступление боги превратили его в цветок. Этот цветок вызывает мигрень, а его луковица даже не заставляет плакать. Заслуживает ли он каких-либо других слез?

С нашим Нарциссом дело обстояло сложнее. Он любил воды реки. Но реки текут, не обращая внимания на купальщиков, на деревья, которые отражает их гладь. Их желание — море. В его объятиях завершают они свой вечный бег и сладострастно в нем тонут.

Жак все время чувствовал, что человеческая красота, подобно реке, имеет русло и цель. Она движется мимо, куда-то. Корабль поднимает якорь, опускается занавес мюзик-холла, семья Ибрео возвращается к своим богам.

На сей раз вода остановилась и любовно отражает его. Он наставляет морю рога. Возможно, за ответ говорящей воды он принимает голос русалки. Но он не анализирует. Его сердце слишком занято.

Мы уже говорили, что для сердца Жермены это была не первая кампания. Привычка насколько не остужала энтузиазма ее увлечений.

Всякий раз она влюблялась впервые. Недоумевала, как могла она прежде любить других, и играла новую партию, раскрывая все свои карты. Она не старалась подольше сохранить огонь, прикопав его золой. Она горела в полный рост и на полной скорости.

Это ее свойство искренне переживать все впервые не позволяло ей отвечать на порывы Жака затверженным пылом поднаторевшей в своем искусстве девицы.

Буря перемешала все их сокровища, не разбирая, где чьи и откуда взялись.

Ибо, если Жак многое растратил впустую, но принес с собой свои мечты, то Жермена, много отдававшая, много и получила. Так что приняла она его не с пустыми руками.

Последняя фраза напрашивается на двойное толкование. Тут опять-таки порыв увлек Жака за пределы совести. Богатый покровитель мог бы быть и мужем — обманутым мужем.

Жермене обманывать Нестора казалось делом настолько законным, что у нее не возникало и тени смущения. Бесстыдство заразительно. Жак счел вполне естественной хитрость, состоявшую в том, чтобы представить его приятелем художника. Обед, сопутствовавший знакомству, немало позабавил его. За десертом Жермена, забывшись, обратилась к нему на «ты». Он сидел справа от нее.

— Ты читал статью К.?.. — Отвечай же, тебя ведь спрашиваю, — добавила она почти без заминки, обернувшись к сидящему слева Нестору,

ошеломленному, сбитому с толку ловким трюком наперсточника. Они посмеялись над ложной тревогой.

Озирис проникся к Жаку симпатией. Он обнаружил, что тот знает толк в цифрах. Столь абсурдное суждение основывалось на том, что Жак слушал его. Его либо слушали, либо нет. Лишь это грубое различие он проводил между людьми, не обладая тем складом ума, который позволяет видеть неповторимость каждого.

Настоящие свидания происходили на улице Добиньи в квартирке на первом этаже, темной, как картины того художника.

Квартирка принадлежала Жермене. По ее словам, ей нужен был свой уголок, чтоб иногда отдыхать от Нестора. В свете такого объяснения получалось, что уголок этот — именно то, что надо, но лишь на первое время. Так ей казалось. Она побаивалась госпожи Сюплис, консьержки. И не того, что консьержка подумает: «Еще один!», а как бы ту не шокировало, что девушка перестала приходить одна.

Ласки, даже самые всепоглощающие, имеют свой предел. Жак, почти девственник, пытался утолить беспредельное желание. Первое объятие обмануло его надежды. Постепенно головокружение прошло, и его разум и взор вновь обрели раскованность.

Тогда, созерцая эту запрокинутую, умирающую в подушках Дездемону, ее пугающую бледность, обнаживший зубы оскал, он набрасывал

на это лицо постыдные воспоминания и выходил из нее, как нож.

Жермена без оглядки расточала свои пышно цветущие ласки. То была пышность букета уличной цветочницы. Завянет букет — покупают новый. А Жаку нужны были корни. Его любовь, эта аномалия, развивалась нормально, постепенно. Он любил себя, любил путешествия, слишком много всего любил в своей подруге. Жермена любила своего возлюбленного — и только.

V

Такой образ жизни требовал стратегических ухищрений на улице Эстрапад, где Жак убивал время, которое проживали вместе Жермена и Озирис.

Ближе к вечеру он придумывал себе какое-нибудь дело в библиотеке Святой Женевьевы.

Эта библиотека — алиби шалопаев Латинского квартала. Если бы все, кому надлежит там находиться, действительно туда ходили, пришлось бы пристроить еще одно крыло. Помирившись с Махеддином и Луизой, Жак каждую четвертую ночь проводил вне дома. Они с арабом оставляли незапертой дверь парадного. Запирали ее на рассвете, возвращаясь от своих любовниц.

Луиза принимала Махеддина у себя дома. Двое заговорщиков встречались у ворот парка Монсо и ждали открытия метро.

В этом отправлении на казнь не было ничего веселого. Они клевали носом среди работниц, едущих на фабрику.

Обвести вокруг пальца профессора труда не составляло. Он ничего не видел и видеть не хотел. Исправностью учеников в посещении и ежемесячной оплате лекций его требования исчерпывались.

Жена его — та видела. Видела, но зеркально. Она пребывала в убеждении, что Жак в нее влюблен и, не в силах обмануть доверие своего учителя, избегает ее общества, пытаясь отвлечься с девочками из кафе «Суфле».

Со стороны араба, признавала она, весьма похвально его опекать.

Каждое воскресенье Стопвэл напрягал в себе некую таинственную пружину, чтобы выиграть состязания по прыжкам. Всю остальную неделю он пребывал в апатии — поджидал почтальона, который вечно должен был доставить ему чек, окутывался воскурениями трубки и чайника. Его огромное тело загромождало всю комнату. После обеда он облачался в фуляровый костюм и засыпал бесформенной грудой, отравленный табаком.

Дружок служил этому деспоту с робостью юных медсестер, ухаживающих за сумасшедшими. Эту должность он совмещал с обязанностями дорного, которые нес при Махеддине.

На Питера он не обижался. Он видел за его позой тьму слабостей, природы которых не понимал, но догадывался, что они — свидетельство уязвимости. Вместе с запахом светлого табака его обоняние будоражила поэзия Англии.

Он любил Стопвэла, как латиняне мало-помалу уступают городу с розами здоровья на щеках, с сердцем черного угля — Лондону, этому снотворному маку.

Он любил в нем сон, королевский монетный двор, ланей на лужайках, герцогов, которые женятся на актрисах, китайцев на берегах Темзы.

В редких случаях, когда Стопвэл хоть что-то говорил, это были хвалы Оксфорду, раю колледжей и лавок, где можно найти лучших эллинистов и элегантнейшие перчатки в мире.

Юный Марисель, замучившись сидеть и надеяться под слуховым окошком, словно принцесса в башне, заболел. Он лечился в замке Марисель, почтовое отделение Марисель Ле Марисель — адрес, потешавший пансионеров и вносящий оживление в застольную беседу.

В одну ноябрьскую среду, на которую Баштаври назначил Жермене и Жаку встречу у Луизы, они увидели там даму — маленькую, сухонькую, без шляпы, с изумрудным кулоном на шее, сидящую в гостиной. Это была мать Луизы. Жак остолбенел, узнав госпожу Сюплис, консьержку с ули-

цы Добиньи. Тамошний домовладелец был одним из прежних покровителей Луизы. Жермена ему об этом и словом не обмолвилась.

— Добрый день, сударыня, — сказала Жермена. — Какое у вас платье, прелесть! Луиза дома?

— Нет, — монотонно проговорила консьержка, — мадемуазель еще не вернулась.

Они сели. Молчали, покашливали. Но госпожа Сюплис скоро оттаяла. Она принялась расхваливать Махеддина, который представлялся ей турецким принцем.

Впрочем, Махеддин, робевший перед интеллектуалами и скрывавший от них свои литературные опыты, не знал удержу перед приказчиками и простофилями. За фразами госпожи Сюплис, текущими сплошной строкой без точек и запятых, угадывались сказки, которые он, видимо, ей рассказывал, не имея возможности ослепить кого-нибудь повыше.

Жак боялся взглянуть на Жермену. То-то бы он удивился, если бы увидел, что она не смеется. Она улыбнулась. Встала.

— Милая мамочка Лили, — воскликнула она, — в своем репертуаре! — и по-свойски потрепала ее по колену.

Вошли Луиза и Махеддин. Встреча их, казалось, не обрадовала, особенно Махеддина.

Может ли писатель всунуть в середину книги историю, выходящую за ее пределы? Да, если

эта история уточняет характеристику одного из персонажей. Так вот, следует уточнить, что Луиза была добрая душа, но истая Сюплис-Шампань.

Во времена, предшествующие началу этой книги, Луиза танцевала в «Эльдорадо»*. Четверо школяров ходили туда ей аплодировать и бросать к ее ногам букетики фиалок. Первого января они отважились подарить ей кулон. Самый отпетый стянул у какой-то престарелой родственницы изумруд. Он простодушно согласился предоставить жребию решать, кто преподнесет подарок. Жребий пал на самого робкого. Луиза поблагодарила небрежной лаской. Они решили, что изумруд для актрисы — мелочь, капля в море. Никто не вспомнил, что море именно из капель и состоит.

Спустя долгое время после заключительного эпизода нашей книги, робкий подросток, с тех пор ставший дипломатом, где-то встретил Луизу. Пустились в воспоминания.

— Помните, — сказала она, — тот кулончик под изумруд? Я его отдала матери. Она с ним не расставалась. Велела так и похоронить ее с этим кулоном.

Дипломат признался, что изумруд был краденый и настоящий. Луиза побледнела.

* «Эльдорадо» — знаменитое кабаре на бульваре Страсбур, где выступала Мистингетт (Жанна Буржуа) (1875–1956). В юности Кокто часто бывал там с приятелями.